

# НЕБЕСНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ



Большая Медведица  
Орион  
я люблю тебя



ЭДУАРД СЕРОУСОВ

# Эдуард Сероусов

## Небесные наблюдатели

*<https://litres.ru/74138209>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Астроном Михаил Ковалёв семнадцать лет живёт один на орбитальной станции «Аргус», разговаривая с дочерью-подростком через полуторасекундную задержку света. Однажды ночью в фоновом шуме туманности он ловит идеально чистый сигнал: во Вселенной кто-то ответил ему первым. Мир возликовал. Одна женщина-лингвист тихо сказала: подождите, я сначала разберу их грамматику. Её никто не услышал. Через семь месяцев у Юпитера возникла серебряная сфера, а на Землю пришёл Дар — архив знания тысячи погасших цивилизаций. И тогда люди начали засыпать с улыбкой на лице, тихо разбирая мир, который так долго держали. Ковалёв понимает, что открыл дверь, за которой стоял не разум. За ней стоял садовник.

# Содержание

Часть первая. Экспозиция	4
Часть вторая. Завязка	15
Конец ознакомительного фрагмента.	23

# Эдуард Сероусов

## Небесные наблюдатели

### Часть первая. Экспозиция

Голос Сони приходил с опозданием на секунду и три десятых. Ровно столько нужно свету, чтобы упасть с «Аргуса» до Земли и вернуться, — и за семнадцать лет Ковалёв так и не выучился любить эту паузу. В ней всегда что-то оседало. То, что он не успел сказать вовремя.

— Сколько у нас? — спросил он в микрофон.

Тишина. Станция тикала вокруг, как остывающий чайник: контуры охлаждения, вздох вентиляции, далёкий шёпот гироскопов, удерживающих «Аргус» лицом к пустоте. За толстым стеклом иллюминатора висела половина Земли — синяя, в разводах облаков, безучастная. Станция болталась на полпути к Луне, на той высоте, откуда планета уже не дом, а экспонат.

— Три тысячи двести шестьдесят, — сказала Соня. — Ты сбился в прошлый раз. Я — нет.

Их счёт. Ему было столько же лет, сколько ей: они завели его, когда Соне исполнилось пять, а Лиза ещё была жива и смеялась над тем, как они оба серьёзны. Правило простое — каждый вечер один из них называет что-нибудь, увиденное

в небе, настоящее или придуманное, и число растёт. Падающая звезда. Спутник. Марс низко над крышами. Однажды, много лет назад, Соня приписала к счёту «дракона» — и Ковалёв, не моргнув, засчитал. Теперь между ними лежали три тысячи двести шестьдесят наблюдений и одна смерть, о которой они не говорили.

— Засчитываю поражение, — сказал он. — Что сегодня?

Пауза растянулась дольше положенного. Не физика — Соня держала её нарочно.

— Ничего. В городе смог, ничего не видно. — И, помолчав: — И вообще я готовлюсь. У меня через месяц пробник по химии, если ты вдруг забыл.

Он не забыл. Он держал это в голове рядом с орбитальными поправками и графиком сна, в том отделе, куда складывал всё, что любил и чему мешал. Соня хотела в медицинский. Не в астрофизику — Ковалёв понимал этот выбор без слов: астрофизика была профессией отца, который смотрел на звёзды вместо того, чтобы смотреть на семью. Она выбирала специальность, где присутствуют. Где стоят у постели, а не разговаривают с ней через полторы секунды задержки.

— Не забыл, — сказал он. — Органика тебе давалась. Ты в маму.

Ошибка. Он услышал её в ту же секунду, как выпустил, — но слово уже летело вниз, необратимое, как всё, что уходит от передатчика.

Секунда. Три десятых.

— Не начинай, — тихо сказала Соня.

Он потёр большим пальцем угол ламинированной карточки, приклеенной к консоли, — детскую карту созвездий, которую Соня нарисовала в семь лет: Большая Медведица с семью кривыми точками, Орион с поясом из трёх сердечек, подписи печатными буквами с зеркальной «я». Он тёр её, когда врал себе. Он это знал и всё равно тёр.

На той стороне что-то зашуршало — она устраивалась удобнее, подтягивала колени. На ней была его старая флисовая кофта с эмблемой миссии, выцветшая, на три размера больше. Он видел это на маленьком экране: дочь, завернувшаяся в отца, которого нет.

Между ними лежало то, о чём они не говорили, — и оба знали, где оно лежит, и обходили это место, как обходят прорубь. Полтора года назад Лиза умерла, а Ковалёв был на «Аргусе». Не смог вернуться — так он это называл; окно запуска, ротация, незаменимость на вахте, тысяча причин, каждая настоящая и ни одна не оправдание. На похоронах он присутствовал голосом. Динамик на кладбище, полторы секунды задержки, его слова, падающие в мёрзлую землю с опозданием. Соня стояла у гроба одна, семнадцати ей ещё не было, и слушала отца из колонки, и с того дня что-то в ней закрылось для него — тихо и окончательно, как закрывается дверь в пустой комнате.

Он знал это. Знал, что медицинский, куда она рвётся, — не столько призвание, сколько приговор ему: она выбирала

профессию тех, кто приходит. Кто стоит рядом. Кто не разговаривает с умирающими через спутник. И он не мог её винить, потому что она была права, а знать про его вину — единственное наследство, которое он ей оставил, кроме флисовой кофты не по размеру.

И тогда она начала мурлыкать. Сама не замечая — так напевают, думая о другом, перелистывая учебник. Мелодия была старая, Лизина, тягучая, в две горсти нот:

*...считай эти звёзды со мной, по одной, по одной... ...я не уйду от тебя, даже когда уйду...*

— Соня.

Она осеклась. Оборвала на середине такта, будто он поймал её на чём-то стыдном.

— Что.

— Ничего. — Он не знал, что сказать. Он никогда не знал, что сказать про эту песню. Лиза пела её Соне каждый вечер последние полгода, уже с капельницей в руке, уже с той ясностью в глазах, которую он принял за сдачу. — Просто... ничего.

— Я её ненавижу, — сказала Соня ровно. — И не могу перестать. Спокойной ночи, пап.

— Соня, подожди...

Секунда. Три десятых. Экран погас с её стороны.

Ковалёв остался сидеть перед своим отражением в чёрном стекле иллюминатора — немолодой человек в свете приборов, с детской картой звёзд под пальцем. Внизу, под ним,

спала половина мира. Он повернулся к терминалу — не потому, что там было что-то новое, а потому, что там было то, что он умел. Работа не задерживала голос на полторы секунды. Работа не помнила похорон, на которых он был голосом из динамика.

Он открыл вчерашний спектр соседней туманности — фоновое излучение, шум, ничего. Просто чтобы смотреть на что-то, кроме себя.

И увидел, что шум неправильный.



Природа шумит небрежно. В этом её почерк, её подпись: звёзды, галактики, разогретый газ — всё разговаривает беспорядочно, с той роскошной расточительностью случая, которую невозможно подделать. Ковалёв за двадцать лет научился читать этот беспорядок, как рыбак читает воду. И то, на что он смотрел сейчас, воду не напоминало.

В фоне туманности сидела регулярность.

Он не поверил сразу — не поверить было профессиональной честью. Аппаратный сбой. Наводка от собственных систем станции. Отражение, интерференция, грязь на приёмнике, тысяча скучных причин, любая из которых вернула бы мир на место. Он проверил их одну за другой, всю ночь, забыв про сон и про то, что не помирился с дочерью. К утру — по стационарным часам утра не было, но тело считало своим — скучные причины кончились.

Сигнал был чистый. Слишком чистый.

— Дэн, — позвал он в интерком. — Ты не спишь?

— Я инженер, кэп. Я не сплю по определению. — Голос Даниэля Роша пришёл без задержки — он был здесь, на станции, единственный человек в радиусе ста тысяч километров. — Что горит?

— Ничего не горит. Зайди, посмотри на кое-что. И принеси свои глаза, а не веру в меня.

Роша пришёл через минуту, жуя никотиновую жвачку, — курить на станции нельзя, а руки помнят. В нагрудном кармане у него, Ковалёв знал, лежала заламинированная фотография сына; Роша касался её так же, как сам он касался карты созвездий, — не думая, когда мир кренился. Инженер навис над экраном, прищурился на развёртку.

— Это твоя туманность?

— Фон за ней.

— И что я должен увидеть.

— Скажи мне, что это шум, — сказал Ковалёв. — Скажи, и я пойду спать.

Роша смотрел долго. Челюсть перестала двигаться. Он был человек железа, не смыслов, — его вселенная состояла из давлений, допусков и чек-листов, и в этой вселенной было спокойно. Ковалёв смотрел, как из неё уходит покой.

— Это не шум, — сказал Роша наконец. Тихо, будто боясь спугнуть. — Шум так не умеет. Это... кто-то выключил шум.

— Да, — сказал Ковалёв. И засмеялся — коротко, некрасиво, от ужаса и восторга сразу. — Именно. Кто-то, кто уме-

ет выключать шум.

За иллюминатором поворачивалась Земля, и на ночной её половине горели города — миллиарды человек, не знающих ещё, что они больше не одни. Ковалёв стоял в свете приборов, и внутри у него, поверх страха, поднималось что-то огромное и постыдно радостное, чему он потом не сможет подобрать оправдания. Это был лучший момент его жизни. Он это чувствовал — и был прав, и не знал, за что заплатит.

Он не позвонил Соне. Он открыл защищённый канал вниз, к тем, кто должен услышать первым, и начал набирать сообщение, от которого у него дрожали руки.



Мир поверил ему за одиннадцать дней. Одиннадцать дней подтверждений, перепроверок, независимых станций, навешенных на ту же точку неба, — и одиннадцать дней Ковалёв почти не спал, живя в узком счастливом коридоре, где он был не отсутствующим отцом, а человеком, услышавшим Вселенную.

Голоса в защищённом канале множились. Сначала — свои, астрономы; потом чужие, из ведомств без названий; потом — весь мир, потому что такое не удержать. Ковалёва вызывали, показывали, цитировали. Его имя произносили с придыханием. Он ловил себя на том, что это придыхание ему нравится больше, чем должно, — и тут же гасил мысль, как гасят непристойность.

А потом в общем канале появился новый голос — сухой,

без придыхания.

— Прежде чем мы начнём радоваться, — сказала женщина, — дайте мне разобрать их грамматику.

— Простите? — Координатор с Земли явно её не ждал.

— Доктор Мира Хендрикс. Ксенолингвистика. — Пауза, короткая, точная. — Вы все считаете сигнал сообщением. Я предлагаю сначала понять, сообщение ли это, — а если да, то что именно делает с нами сам его язык. Прежде чем мы ответим и станем понятны в ответ.

В канале засмеялись — необидно, скорее от избытка счастья. Кто-то сказал: доктор, мы поймали разум из-за края, а вы про грамматику. Ковалёв не засмеялся. Он смотрел на её строку в списке участников и чувствовал смутное неудобство, как от камешка в ботинке, — то самое неудобство, которое человек в упоении обычно вытряхивает не глядя.

— Поясните, — сказал он. Не из согласия — из вежливости победителя.

— Язык не описывает мир нейтрально, доктор Ковалёв, — сказала Хендрикс, и он услышал, что она привыкла говорить это в пустоту. — Он раздаёт категории. Он решает за говорящего, что можно помыслить легко, а что — почти нельзя. Выучите чужую грамматику по-настоящему, глубоко, — и вы начнёте думать её ходами. Это не мистика. Это переносится вниз, в то, как мозг раскладывает мир на «ожидаемое» и «нет». — Она помолчала. — Я всего лишь прошу: прежде чем впустить в себя способ мышления, о котором

мы ничего не знаем, — давайте посмотрим, куда он клонит. Языки клонят. Все.

— Мы не собираемся впускать в себя способ мышления, — мягко возразил кто-то из ведомства. — Мы собираемся ответить «здравствуйте».

— Именно с «здравствуйте» это и начинается, — сказала Хендрикс. — Вы уверены, что хотите, чтобы вас поняли?

Тишина в канале стала другого сорта. Ковалёв поймал себя на том, что хочет её нарушить, — и не потому, что она была не права, а потому, что она была не в тон. Она портила лучший месяц его жизни трезвостью, а трезвость сейчас казалась почти неприличной, как чёрное платье на свадьбе.

— Спасибо, доктор Хендрикс, — сказал он, и в голосе его было ровно столько тепла, сколько нужно, чтобы закрыть тему. — Мы учтём осторожность. Но, при всём уважении, — мы не можем встретить первый разум во Вселенной молчанием из страха перед его синтаксисом.

— Можете, — сказала она. — Молчание — тоже ответ. Просто он вам не нравится.

Он не нашёлся. И это тоже запомнил.



Решение отвечать приняли не астрономы и не Хендрикс. Его приняли те, кто всегда принимает такие решения, — но голосом, которым мир объявил это решение, стал Ковалёв. Так было удобно: первооткрыватель, лицо без погон, человек, которому хочется верить. Ему дали текст — выверен-

ный, вычищенный комитетами: простые константы, простая математика, «мы здесь, мы слышим, мы мыслим». И дали право нажать.

Передачик «Аргуса» был лучшим инструментом человечества для разговора с тем краем неба. Ковалёв сидел перед ним один — Роша ушёл спать, Земля висела в стекле, курсор «отправить» мигал в углу экрана, отсчитывая его пульс.

Секундного колебания он потом не забудет — оно придёт к нему во снах. Не сомнение даже, а тень сомнения: голос Хендрикс, *вы уверены, что хотите, чтобы вас поняли*, — и тут же, поверх него, тёплая волна, за которую любой на его месте нажал бы. Быть тем, кто ответил. Вписать имя. Не молчать.

Он подумал о Соне — мельком, не к месту. О том, что расскажет ей, и она наконец посмотрит на него не как на человека, который выбрал звёзды. Как на человека, который для неё их поймал.

Он нажал.

Сигнал ушёл в стекло, в черноту за Землёй, к регулярности в шуме туманности. Кнопка была тактильной, с честным щелчком, — инженеры знали, что человеку нужно почувствовать необратимое пальцем. Наступила тишина, ровная, станционная. Звёзды в иллюминаторе не сдвинулись. Ничего не изменилось — в том и была ложь этой тишины: всё уже изменилось, просто свету требовалось время, чтобы это доставить.

Где-то далеко внизу спала его дочь. Ковалёв сидел перед погасшим курсором и не знал, что только что своей рукой отпер дверь, которую строил всю карьеру, — и что за ней стоял не разум. За ней стоял садовник.

## Часть вторая. Завязка

Ответ пришёл через семь месяцев, и пришёл не словами.

У орбиты Юпитера, там, где не было ничего, кроме холода и расчётной пустоты, возникла сфера. Серебристая, идеально гладкая, четырёх километров в поперечнике — она не прилетела, её увидели уже там, будто пространство в этом месте просто перестало быть пустым. Ковалёв следил за сводками с «Аргуса», прилипнув к экрану, как весь остальной мир прилип к своим. Сфера ничего не излучала. Она ждала.

К ней пошла экспедиция — лучшие, кого смогли собрать и разогнать за месяцы: учёные, врачи, военные, корабль, построенный наполовину в панике, наполовину в восторге. Ковалёв не полетел. Его место было здесь, на «Аргусе»: приказом сверху станцию назначили научным узлом связи — ретранслятором и архивом всего, что экспедиция добудет у сферы. «Аргус» первым поймал их голос; «Аргусу» доверили держать линию. Ковалёв принял это как честь и как ссылку сразу. Он привёл человечество к порогу — и остался стоять в дверях, пока другие входили.

Он смотрел чужими глазами. Записи шли к нему с задержкой в десятки минут, изрезанные помехами, — и всё равно от них перехватывало дыхание. Сфера впустила людей внутрь без швов и шлюзов: стена просто расступилась. Внут-

ри был свет без источника и — фигуры. Голограммы гуманоидов, высоких, с длинными спокойными лицами, которые двигались чуть-чуть неправильно: начинали жест и не доводили его, будто у них не было нужды заканчивать. И устройство — не пульт, не экран, а нечто, что вступало в разум напрямую, минуя уши и глаза.

Они называли себя Варидами. Древними наблюдателями. Теми, кто смотрел.

И они принесли дар.



Дар назывался Сад.

Первые расшифровки, которые «Аргус» получил и разослал вниз, читались как сон скупца. Сад был архивом — но не архивом фактов. Архивом знания тысяч цивилизаций, живших и погасших за то время, что люди учились ходить: их физика, их медицина, их музыка, их решения задач, над которыми человечество билось и проиграло. Не библиотека, которую надо читать годами, — а нечто, что можно усвоить, вырастить в себе, как язык вырастает в ребёнке. Вариды предлагали открыть к нему доступ. В обмен просили одного: чтобы Земля стала узлом их сети. Точкой, где Сад пустит корни и свяжется с другими Садами других миров.

Мир возликовал. Ковалёв — вместе с миром. Он читал сводки и смеялся вслух в пустой рубке, один, как смеются от слишком большого счастья: болезни, которые они забудут; голод, который кончится; вопросы, на которые они наконец

получают ответ. Он был тем, кто привёл этот дар. Его имя теперь стояло в начале самой большой истории вида.

А потом среди технических данных он наткнулся на строку, от которой смех застрял в горле.

Это была служебная пометка группы перевода — образец варидской грамматики, приложенный лингвистами для сверки. Простая фраза из Сада, разобранная по косточкам. Ковалёв не был лингвистом, но он умел читать структуру, а структура была странной.

Во фразе не было отрицания.

Не «нет слова нет» — слова находились. Не было грамматической *возможности* противопоставить себя сказанному. В человеческих языках несогласие вшито в самую ткань: «но», «однако», «я против», — говорящий всегда может встать поперёк. Здесь встать было некуда. Согласие не выражалось — оно предполагалось падежом, оно было условием, на котором фраза вообще существовала. Утверждать на этом языке значило соглашаться. Мыслить на нём — соглашаться. Ковалёв смотрел на разбор и чувствовал, как по спине идёт медленный холод, тот самый камешек в ботинке, только теперь он был размером с кулак.

*Вы уверены, что хотите, чтобы вас поняли.*

Он открыл прямой канал к доктору Хендрикс, не спрашивая себя зачем.

✱

— Значит, вы всё-таки заметили, — сказала Хендрикс.

Она была на экране — усталое лицо, бумажный блокнот в руке, карандаш. За её спиной — не лаборатория, а какая-то временная комната с голыми стенами. Ковалёв запомнил, что она писала от руки, и не понял тогда почему.

— Объясните мне грамматику без «нет», — сказал он. — По-человечески.

— По-человечески её нельзя объяснить, доктор Ковалёв. В этом всё дело. — Она положила карандаш. — Я разбираю Сад третий месяц. И то, что я нахожу, хуже, чем язык без отрицания. Это не язык, который описывает мир. Это язык, который переписывает говорящего. Его грамматика не нейтральна — она с уклоном. Каждая конструкция чуть-чуть подталкивает вас к одному: к согласию, к покою, к тому, чтобы стало проще. К тому, чтобы перестать держать в голове противоречия. — Она посмотрела прямо в камеру. — Представьте язык, в котором нельзя не согласиться. В котором «я против» — не запрещено, а невозможно, как нельзя разделить на ноль. Согласие вшито в падеж. Вы выучите его — по-настоящему, до дна, как обещает Сад, — и вы измените форму. Не мнения. Форму мышления.

— Это гипотеза, — сказал Ковалёв. Он услышал в собственном голосе то, чего стыдился потом годами: не спор учёного, а сопротивление счастливого человека, у которого отнимают счастье. — Сильная версия лингвистической относительности не доказана. Язык влияет на мышление по краям, доктор, а не диктует его. Вы строите башню на боло-

те.

— Я строю её на том, что вижу в тексте. А вы стоите на том, что вам очень хочется, чтобы я ошибалась. — Она не повысила голоса. — Не открывайте Сад, доктор Ковалёв. Не всем сразу. Дайте мне год. Полгода. Дайте разобрать каркас прежде, чем миллиард человек впустит его в себя во сне.

— Во сне?

— Знание консолидируется во сне. — Впервые в её голосе мелькнула трещина. — Это уже не гипотеза, это нейрофизиология. Что вы усвоили за день, мозг переписывает набело ночью. Если каркас Сада ложится в человека — он проращён именно там, в темноте, когда никто не сторожит. Мы отдадим ему единственное время, когда мы беззащитны.

Ковалёв должен был её услышать. Часть его — тихая, приглушенная — слышала. Но громче звучало другое: месяц славы, дар, поднесённый его руками, весь мир, который смотрит на него с благодарностью, — и эта женщина с карандашом и голыми стенами, предлагающая ему своими руками запретить чудо. Гордыня не кричит. Она рассуждает спокойно и разумно, и в этом её сила.

Дебаты вышли в открытый эфир — мир хотел слышать спор о даре. И на этом эфире Ковалёв сделал то, за что потом заплатит его ребёнок.

— Доктор Хендрикс — блестящий специалист, — сказал он в камеры, спокойно, почти ласково, и оттого убийственно. — И я понимаю страх перед новым. Но давайте называть

вещи именами. Нам предложили свет — а нас просят сидеть в темноте, потому что кто-то боится грамматики. — Он позволил себе полуулыбку. — Я не технофоб, доктор. Я реалист с телескопом. И я не намерен объяснять будущим поколениям, что мы отказались от знания тысяч миров, потому что нам не понравился их синтаксис.

В эфире засмеялись. Смех решил дело — не аргумент, смех. «Реалист с телескопом» разошёлся по всем каналам к утру. Лицо Хендрикс на экране не дрогнуло; она просто смотрела на него секунду, и в этом взгляде не было обиды — было что-то хуже, похожее на жалость. Потом её отключили.

Мир открыл Сад.

А внизу, на своей стороне очередного вечернего сеанса, Соня подтянула колени в его старой кофте, листала химию и мурлыкала под нос, сама не слыша: *...я не уйду от тебя, даже когда уйду...* — и на этот раз Ковалёв, опьянённый победой, даже не заметил, где она оборвала.



Сначала был только свет.

Первые недели после открытия Сада мир жил в лихорадке чудес. Онкологи писали, что видят механизм, которого искали полвека. Физики говорили странными, счастливыми голосами о вещах, которые вчера были невозможны. Изобилие идей — так это называли в сводках, и слово было точным: идеи хлынули, как вода из прорванной плотины, быстрее, чем их успевали записывать. Ковалёв читал это на «Ар-

гусе» и говорил себе, что был прав. Что Хендрикс ошиблась. Что свет — это свет.

Потом пошли тихие аномалии.

Он заметил их не в сводках — в Соне.

— Мне сон снился, — сказала она однажды вечером. Не жалуясь — с удивлением. — Станный. Очень... хороший.

— Расскажи. — Он был рад любому разговору, где она не сердилась.

Секунда. Три десятых.

— Там луг, — сказала Соня медленно, будто нащупывая. — Зелёный, до самого края. И тихо. По-настоящему тихо, пап, я такой тишины наяву не слышала — без машин, без гула, без... ничего. И не страшно. Наоборот. Как будто с тебя сняли рюкзак, который ты всю жизнь тащил и не знал, что тащишь. — Она помолчала. — И там не надо ничего решать. Не надо готовиться, никуда успевать, ничего держать в голове. Просто трава, и свет, и...

Она остановилась.

— И что? — спросил он.

Пауза была длинной. Не физика.

— И мама поёт, — сказала Соня очень тихо. — Я её не вижу. Но слышу. Она поёт ту песню. И знаешь, что странно, — продолжила она, и голос поплыл, размягчился. — Я там не скучаю. Ни по тебе, ни по маме — она же рядом, — вообще ни по чему. Впервые в жизни. Я ведь всё время по чему-нибудь скучаю: по маме, по тому, как было, по тебе,

когда ты на орбите. А там ничего не потеряно, потому что и терять нечего. Всё уже есть. — Пауза. — А утром просыпаться — и так пусто первые минуты. Хочется обратно. Туда, где не пусто. — И вдруг, испугавшись собственных слов, резко: — Это глупость. Просто сон. У всех сейчас какие-то сны, полкласса про это болтает.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.